

ВОЗЛЕ «РУССКОЙ ИДЕИ»...

Г-н Т. Ардов напечатал в «Утре России» несколько в высшей степени интересных статей о настоящем и будущем России... И не интересных только, но даже волнующих. Автор начал с пересказа одного эпизода в «Подростке» Достоевского: застрелился некто Крафт, обруслый немец, юноша, что-то вроде студента. И когда стали узнавать, отчего он застрелился, то стали говорить, будто причиной смерти послужили мысли, в которых находился последнее время этот Крафт: именно, что по его взгляду, очень долго зревшему, Россия — «второстепенное место» в истории, никакого всемирного призыва не заключающее и ни к какой всемирной роли не способная. Идеальный юноша так полюбил свою вторую мать, что не мог вынести этой печальной мысли и покончил с собою. Нужно заметить, примеры такой любви к России, и именно немцев, — встречаются!.. Меня в свое время это место из «Подростка» так же поразило, как и г-на Ардова. И тоже, окончив роман, — я возвращался к этим 2—3-м страничкам в начале его. Эпизод разителен тем, что лицо Крафта даже не выведено в повествовании, не показано: много-много, что он на какой-то странице «написал чаю» или сказал кому-то: «Я к вам приду»... Таким образом, этот наклеенный сбоку романа кусочек печатной бумаги весьма походит на записочку, которую положили вам под подушку на ночь, — и она всю ночь будет вам сниться... Г-н Ардов весьма правдоподобно говорит, что это — мысль самого Достоевского; не постоянная его мысль, ибо вообще-то он стоял за «великое призвание России», но так... стоявшая у него «уголком» в душе мысль и которую он в душу читателя вставил тоже «уголком»...

— Можно с ума сойти... Может быть, бред есть все, что мы думаем о великом призвании России... И тогда — удар в висок свинцового куска... И вечная Ночь... Ибо для меня вечная Ночь переносимее, нежели мысль, что из России ничего не выйдет... А кажется — ничего не выйдет.

Это был «бес» Достоевского; его поистине «кошмар» и «черт» («Брат. Карамазовы»)... «Своя же мысль, но в отвратительном виде», — как он толкует там «беса». — «Господин в сером пиджаке, приживальщик»... «Мое подлое я,— которое убить бы, но убить — нет сил, оно — трансцендентно, оно — вечно». Крафт убил себя из-за этой мысли: а Достоевскому, поверь он в нее окончательно, т. е. окончательно разуверясь в «будущности России», пришлось бы перелицевать всю свою литературную деятельность и попросту и смиренно пойти в «приживальщики» к М. М. Стасюлевичу, Спассовичу, Градовскому, Пыпину...

— Вот, мы же и говорили, Федор Михайлович, что все дело — в Западе, а Россия — пустое место. А вы нервничали; оскорбляли нас за эту прозаическую истину. Проза всегда сильнее стихов... Вы стишки очень любите, и это вредно, а главное — затемняет истину.

И Шиллер-Достоевский-Крафт выкрикнули:

— Нет, лучше пулю в висок... Лучше мозги пусть по стенам разбрзгаются, чем эта смердяковщина...

Замечательно, что та мысль, от которой благородный Крафт застрелился (Достоевский несколько раз называет его «благородным»), — эта же самая мысль внушает Смердякову его знаменитые «романсы». В человеке «с гитарой» описывается, как этот лакей хохлится со своею невестою, и то «развивает ее», то очаровывает пением. «Россия-с, Марья Ивановна — одно невежество. Россию завоевать нужно. Придут французы и покорят ее: а тогда я в Париже открою парикмахерскую».

Это та же «мысль Крафта», переданная «подлецу-приживальщику», бесу «в смокинге», который страшнее всех демонов в плаще и сиянии. Единственный подлинный дьявол, — о, какой подлинный!

«Мое — подлое я, но — трансцендентное».

— «Дьявол с Богом борется: а поле борьбы — сердца людей».

И Достоевский помогал и помогает своему «Богу»:

— Знаете ли вы, что есть только один Народ-Богоносец; и этот народ — русский... Когда народы начинают смешивать богов своих, то они исчезают: всякий народ утверждает себя

в истории, себя *одного* и своего Бога,— а других всех прочих богов и другие народы отвергает, уничтожает...

— Нет, Шатов,— поправляет его Ставрогин, коего «прежние мысли» излагал «бесталанный» друг...— Нет, я не смеюсь теперь: я даже говорил еще властнее, еще гордее и абсолютнее... У вас «Бог» выходит каким-то только *атрибутом народности*,— его мечтой или «идеей», его «составной частью»... А ведь подлинно-то есть Бог, перед Которым народы — ничто, и вот это Он, Вечный, избирает преемственно себе тот или иной народ в «сыновство»... Так что «Русский народ-Богоносец» — эту мысль нужно читать наоборот, чем вы сказали: Истинный Вечный Бог избрал убогий народ наш, за его смиление и терпение, за его невидность и неблистанье, в союз с Собою: и этим народом Он покорит весь мир своей истине, которая есть именно — смиление, безвидность, простота, ясность, доброта.

Отсюда:

— *Смирись, гордый человек!*— брошенное русской интеллигенции,— т. е. «не изменяй своему Богу, Богу *смирения*, Который призвал тебя в сыновство». Ибо тогда, без идеала и помощи Божией,— мы погибнем.

И —

Образ кроткой Татьяны, безмолвной Татьяны, «покорной судьбе своей»,— который он бросил всем на Пушкинском празднике.

Таким образом, около «идеи Крафта», можно сказать, «танцует весь Достоевский»,— как около своего «беса», своей «мучительной идеи», своей «тоски за всю жизнь»...

— Позвольте, позвольте,— говорит прокурор в «Бр. Карамазовых»: если в гоголевскую «тройку», так быстро и роскошно мчащуюся, что перед нею «сторонятся все народы», впрочем только героев этой самой «великой поэмы», ну — напр., Собакевича, Чичикова и Ноздрева,— то ведь что же тогда выйдет?.. Не далеко ускакет такая «тройка»... Да, знаете, «народы»-то, пожалуй, и «сторонятся» перед Россией: но — от отвращения, от омерзения. И уже давненько подумывают: как им защититься от этой дикости, от этого исступленного преступления, от всех наших чудовищных пороков и низости... Как связать и укротить эту «бешено мчащуюся тройку», это бешеный «развал» и «нигилизм»...

Опять — идея Крафта и Смердякова... А «прокурор» не похож ни на Крафта, ни на Смердякова. Прокурор — просто «порядочный человек», с некоторым чувством закона и долга;

в то же время человек практический и трезвый, видящий, что делается вокруг. Он — человек маленький, но умный; но вот это небольшое, и, однако же, насущно-нужное в общежитии, чувство долга, закона и порядочности, заставило его сказать о России... похоронное слово... Стасюлевич и Пыпин, люди не гениальные, тем именно и сильны и необоримы, что они говорят все время «маленькую нужную идею», без которой «никак не обойтись»... Тут случилось странное qui pro quo*: именно Стасюлевичу и Пыпину выпала роль «смиренной Татьяны», убогая скромная роль сказать провинциальную истину, затхлую истину, «с сельского погоста», что: 1) нельзя обижать мужиков, вообще — сирот; 2) надо побольше школ; 3) мужика и бабу его надо лечить. Да,— не «сногшибательные» истины, не «ницшеанского» полета, без плаща, перьев и пламени:

— Не надо воровать носовых платков.

А Достоевский перед этой «простенькой истиной», в «платьице Татьяны», со своим «Народом-Богоносцем» и «Смирись, гордый человек»,— ну, идеями великими, восторженно-чудными,— играл все-таки роль «печального демона»...

Печальный демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей...

и манил ее несказанными обещаниями «усыновления Божия»... Но на скромной земле «насадка-курица»,— вот этот Стасюлевич, вот этот Пыпин,— сжались крыльями над своим «земным выводком» и дерзко закричали: «Не хочу! Не хотим! Никому не дам и ни для чего не дам, ни ради каких обещаний, деревенскую нужду, деревенскую обиду, бабу, мужика и нуждающиеся в ремонте дороги».

— Мы — ремонтёры, Ваше Преосвященство: и вашей обедни нам пока некогда слушать.

Вот диалог между Достоевским и Стасюлевичем; между Стасюлевичем и Крафтом-Смердяковым-«прокурором»...

* * *

Одно воспоминание: когда я в молодости был учителем, то у меня был товарищ, ныне покойный, Серг. Ив. Саркисов, армянин. Был умен, пылок, преподавал греческий язык. Беззаветно любил одну русскую женщину, увы (по-русски) — чужую жену. Был счастлив с нею. Был в то же время страстный армянский патриот; составил армянскую грамматику и сделал в ней некоторые новые объяснения. Нашего, и в то же время его

* Одно вместо другого, путаница (лат.).

учителя, Ф. И. Буслаева он за филологический талант называл «богом», как и немецкого лингвиста Боппа, и своего летописца Моисея Хоренского. Вот он раз и говорит мне:

— Знаете ли вы одно место из Достоевского, где он говорит о народах в истории?

Я, конечно, знал. Но он раскрыл о «Народе-Богоносце» и прочел страстно, по-южному, декламируя. И заключил словами:

— Это — Евангелие истории... Евангелие и для всякого народа в унижении. Я не знаю еще таких слов на человеческом языке: это пророк говорил своему народу. Для русских это — Священное Писание.

Он, почему-то, еще очень восхищался Верою в «Обрыве» Гончарова, говоря, что лучшего типа девушки во всемирной литературе не знает. Не скрою, что в свое время и я был «закружен» им. Да, думаю, что это и вообще — так. Но это — в сторону, хоть может и пригодиться ниже. А пока вернусь к г. Ардову и его мыслям «около Крафта».

* * *

Он привел — впрочем, известное — выражение императора Вильгельма, когда ему кто-то напомнил, что нужно думать не о «желтой опасности», а о «славянской угрозе».

— Что вы, Ваше Величество, тревожите мир указаниями на «желтую опасность». Она — далеко. Германия вся облегается славянскими народами. Славянский мир — вот где кроется опасность для Германии.

Тогда, будто бы, Вильгельм отвел в сторону говорившего и сказал ему вполголоса:

— Нет!.. Никакой опасности — от славян... Славяне — это вовсе не нация, это только удобрение для настоящей нации. Настоящая нация — мы, немцы; и славяне призваны к тому, чтобы унавозить поля, на которых со временем раскинется будущая Великая Германия.

Этому отвечает выражение Франца-Иосифа, — фактический ответ его каким-то славянским депутатам, прочтенный мною лет шесть назад в газетах:

— Я предпочту стоять часовым солдатом возле немецкой палатки, в германском военном лагере, чем титуловаться «королем» вашим или вообще какого бы то ни было славянского народца.

То же презрение. Та же мысль: «Это — пустое место, для меня вовсе неинтересное».

Можно вообще допустить или угадывать, что *государственно* «по ту сторону Вержболова» эта мысль царит как аксиома. «Славяне — это туманность, которая разрешится в германское солнце». Славяне умрут, духовно, этнографически, всячески. Они просто — *не нужны миру*; и — потому, что в них *ничего нет*.

Мысль — Крафта, «прокурора», Смердякова; мысль Стасюлевича... «Что такое *особенное?* Ничего нет, ничего не *вижу*»...

— *А я *вижу*!!* — вопил Достоевский и указывал на то, о чем говорит далее г. Ардов и говорил гораздо ранее его Бисмарк.

Бисмарк одно время был послан в Петербург и приглядывался к русскому характеру, к «русским людям»... Гениальному человеку, вот как и Гоголь, достаточно «проехаться по стране», чтобы заприметить в ней такое важное, чего «тутовые люди», век живя, — не заметят. И Гоголь это, только «проехавшись по России», заметил; и Бисмарк заметил, только «побывав в Петербурге послом».

С ним случился раз анекдот: он заблудился на медвежьей охоте. Поднялась пурга, дорога была потеряна, и Бисмарк очутился в положении поляков с Сусаниным. Лес, болото, снег, никуда дороги. Он считал себя погившим:

— *Ничего!* — обернулся мужичок с облучка.

Он был один, с этим мужиком. Без русской речи, кроме каких-нибудь слов.

Мужичок все обертывался и утешал железного барина:

— *Ничего, выберемся!*

«Выберемся» он уже не понимал. А только запомнил это «ничего», много раз повторявшееся. И когда стал канцлером, то в затруднительных случаях любил повторять на непонятном языке:

— *Ничего. Nitschevo.*

Распространительно: «Бог не выдаст — свинья не съест». «Не пришел час гибели — и не погибнем. А пришел этот час, то как ни кудахтайся — не выберешься». В общем: «Ничего».

Так вот этот Бисмарк и говорил:

— Все русские женственны. И в сочетании с мужественною тевтонскою расою — они дали бы, или дадут со временем, чудесный человеческий матерьял для истории.

Эту мысль Бисмарка — она же и мысль Вильгельма, а в конце концов, и мысль Крафта, Смердякова, Стасюлевича и «прокурора», — развивает от себя г. Ардов, и очень интересно:

— Германцы — хищническое племя. Вся Германия стоит на

костях погибших славянских народностей, этих «поморян» Померании и «лабов» по реке Эльбе... Немецкий титул «граф» происходит от «грабить» и выражает волевое и мысленное движение — «грабь!», а немецкий глагол haben, т. е. «иметь», одного корня с «хапать», хватать, похищать. Немцы — мужское племя, с огромным инстинктом насиличества, господства, власти. Это — одна сторона, которая с запада Германии нашла себе ограничение в сильном и тоже мужском племени кельтов. Не то с востока: здесь Германия прилегает всем своим огромным боком к племени женственному, слабому, нежному, мягкому, уступчивому — к славянам, к русским. И то, что совершилось с прибалтийскими славянами, превращенными в рабов ливонскими рыцарями, немецкими грабительскими «графами», — неодолимо раньше или позже совершится вообще со всем славянством, начиная от поляков и малороссов и кончая русскими. Везде «slavi» будут «sclavi», как говорит и имя их: «славяне» значит «рабы». Неодолимо: ибо это вытекает из соотношения характеров, рас, психологий. «И посмотрите,— продолжает Ардов (отсюда и начинается интерес его мысли),— этому действительно отвечает наша народная психология, особенно как она сказалась в самом ярком и многозначительном своем выражении, в великой русской литературе. Она прекрасна: но обратите же внимание, в чем лежит это ее «прекрасное». Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров, целый ряд беллетристов-народников, все с поразительным *единством и без какого-либо значительного исключения*, возводят в перл нравственной красоты и духовного изящества слабого человека, безвольного человека, в сущности — ничтожного человека, еще страшнее и глубже — безжизненного человека, который не умеет ни бороться, ни жить, ни созидать, ни вообще что-либо делать: а, вот видите ли,— великолепно умирает и терпит!!! Это такая ужасная психология!.. и, что страшно, она так правдива и из «натуры», что голова кружится. От Татьяны, сказавшей:

Но я другому отдана
И буду век ему верна —

от этого ужасного слова, в сущности всемирного слова всякого рабства, всякого «оруженосца», «пажа», отнюдь не рыцаря, и не воина, не самостоятельного «я», — через «бедных людей» Достоевского (какой ужасный смысл в самом имени: Макар Девушкин) и его же «Честного вора» (аншлаг для всей Руси), через Платона Каратаева, через безвольных героев Тургенева, — проходит один стон вековечного раба: о том, откуда бы ему взять «господина», взять «господство» над собою... Это еще от

новогородской Руси: «приидите володеть и княжити над нами». Перекидываясь от Рюрика и Трувора прямо в XIX-й век, что мы усмотрим во всех этих переводных изданиях Павленко-ва, в этом чисто женственном отдавании себя Боклю, Спенсеру, Дрэперу, Льюису, Молешоту, как раньше Гегелю, как недавно Ницше и перед ним Шопенгауэр, как не такое же «призвание князей», как не Татьянин ответ, как не вечное сознание: «Я сама — ничто; дурнушка, деревенская девушка... Но придет рыцарь, придет Солнышко, и от Него я рожу дитя-богатыря».

О, сущий «Макар Девушкин»!.. и имя-то себе выбрал мужчина — девичье. Ну, что тут поделаешь, если «от Рюрика»...

* * *

Но вспоминается бисмарковское:

— «Ничего».

Прежде, однако, чем перейти к «ничего», докончим Ардовскую мысль:

Ардов и говорит: «Да вся русская литература, а за нею и все общественные наши идеалы, общественные тенденции, суть женские, женственные. На вековечный крик самца-мужчины, ну, напр., самца-тевтона: «Я — хочу» — русское племя, устами по крайней мере литературы своей, отвечает: «Возьми меня!»

По-видимому: «сон Вильгельма совсем сбудется». Если бы не мужичок, успокоивавший посла:

— «Ничего, барин!.. Вывезет».

Ардов парирует «сон Вильгельма» следующим:

— Да посмотрите на русскую историю, не сейчас, а как она совершилась *сначала*. Достоевский и Толстой пришли только теперь, а ведь *что-то было и до них*. Не все были Рудины и тургеневские «нервы». Да в русской истории положено столько *железа*, столько *мужчины*, такие *бронзовые характеры* «склачивали Русь», как, может быть, этого не было у самих немцев, только к XVII-му веку сколотившихся в Пруссии. Суворов — уже это не «честный вор» из Достоевского; воины Бородина — не «Макары Девушкины»; сподвижники Екатерины и Петра — люди, которые никак не уступят в закале, в воле, энергии, в даре и силе созидания сподвижникам Фридриха Великого и старца Вильгельма.

* * *

Указав на это, в конце статей он, однако, отказывается от этого «железного созидания», — перенося все свои симпатии

к мягкотелой «культурной работе». Вообще, мысль его интереснее началась, чем кончилась. «Загвоздка Крафта» остается невынутой. «Культурное созидание» еще лучше нас могут выполнить немцы: и тогда правильна мысль Смердякова — «пусть умная нация покорит глупую». Ардов предоставляет России роль какой-то ненужной, необъяснимо почему нужной, «связи» между «армянами, литовцами, хохлами, поляками, евреями, финнами» и проч. и проч. Роль чисто механическая, отнюдь не духовная. Все это сводится опять к «идее Крафта»: а Крафт был «благородный человек» и кончил из-за нее самоубийством. Кстати, почему «Крафт», а не «Иванов»? И благороднейшего медика в «Бр. Карам.» Достоевский назвал «Герценштубе», и даже приписал где-то, что, «если вы захвораете серьезно, зовите к себе врача с немецким именем»; «это вам говорю я, русский из русских», — прибавил он.

«Крафт» — тот же «Даль», тот же «Гельфердинг», та же семья «Гротов». «Верный немец» — «верный» идеи своей, привязанности. «Верный и последовательный» в своей идеи. Оттого и «застрелился», — как застрелился бы Даль или еще «Востоков» (тоже — немец), «разуверясь он в красоте и будущности русского языка, русских и России».

* * *

Осмотримся.

Бисмарк, врашившийся в пору петербургского посольства в нашем обществе и присматривавшийся к русским характерам, говорил, что они «необыкновенно женственны»; и прибавил, что «в сочетании с мужественным германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории». Эту же мысль, у Бисмарка не звучавшую уничижительно, император Вильгельм выразил так: «Славяне — не нация: это — только материал и почва, на которой вырастет другая нация, с историческим призванием». Он разумел будущую Германию. Оба тезиса поднимают вопрос о «мужественном» и «женственном» в истории.

«Муж есть глава дома»... Да... Но *хозяйкою* бывает жена. Та «жена», которая при замужестве потеряла свое имя, а во Франции не может распорядиться своим имуществом и даже своим заработком. Но и во Франции, как и в России, как решительно везде, жена наполняет «своей атмосферой» весь дом, сообщает ему прелесть или делает его грубым; всех привле-

кает к нему или от него отталкивает; и, в конце концов, она «управляет» и самим мужем, как шея движениями своими ставит *так и этак* голову, заставляет смотреть туда или сюда его глаза и, в глубине вещей, *нашептывает* ему мысли и решения...

Муж, положим, «глава»; но — на «шее», от которой и зависит «поворот головы».

Вот что можно ответить Вильгельму и Бисмарку на их указания о «женственном характере» славян, в частности — русских, и на «печальную роль подчиненности и даже рабства» в будущем, которую они нам предрекают, основываясь на нашей «женственности».

Достоевский, много мысли отдавший «будущему России», не сказал этой формулы, которую я говорю здесь,— формулы ясной и неопровергимой, ибо она физиологична и вместе духовна; но он тянулся именно сюда, указывая на «всемирную отзывчивость русских», на их «способность примирить в себе противоречия европейской культуры», на то, что «русские наиболее служат всемирному призванию своему, когда *наиболее от себя отрекаются*»... Пушкинская речь его, сказанная в этих тонах, известна; но гораздо менее известно одно место из «Подростка», именно диалог Версилова со своим сыном от крепостной девушки, где эта идея выражена с таким поэтическим обаянием, до того нежно и глубоко, так, наконец, всемирно-прекрасно, как ему не удавалось этого никогда потом... Много лет меня занимает мысль разобрать этот диалог: здесь выразилось «святое святых» души Достоевского, и тут он стоит не ниже, но, пожалуй, еще выше, чем в «Легенде об инквизиторе» и в монологе Шатова — Ставрогина о «Народе-Богоносце»... Эти слова грустного русского странника, бедного русского странника, бежавшего за границу чуть ли не от долгов, а в сущности — от скуки, от «нечего делать», с гордым заключительным: «Из них (европейцев) настоящим европейцем был один я... Ибо я один из всех их сознавал тоску Европы, сознавал судьбу Европы», и проч., — удивительны. Но тут нельзя передавать: поэзия цитируется, а не рассказывается. В этой идее Достоевский и выразил «святое святых» своей души, указав на особую внутреннюю миссию России в Европе, в христианстве, а затем и во всемирной истории: именно «докончить» дом ее, строительство ее, как женщина доканчивает холостую квартиру, когда входит в нее «невестою и женою» домохозяина.

Женщина уступчива и говорит «возьми меня» мужчине; да, но едва он ее «берет», как глубоко весь переменяется. «Женившись — переменившись» — многодумная вековая поговорка. Это не жена теряет свое имя; так — лишь по документам, для полиции, дворников и консистории. На самом деле имя свое и, главное, лицо и душу теряет мужчина, муж. Как редко при муже живут его мать, его отец; а при «замужней дочери» обычно живет и мать. Жена не только «входит в дом мужа»: она входит как ласка и нежность в первый миг, но уже во второй — она делается «госпожою». Точнее, «господство» ей отдает муж, добровольно и счастливо.

Что это так выходит и в истории, можно видеть из того, что, например, у «женственных» русских никакого «варяжского периода», «норманского периода» (мужской элемент) истории, быта, существования не было, не чувствовалось, не замечается. Тех, кого «женственная народность» призывала «володети и княжити над собою», — эти воинственные, железные норманы, придя, точно сами отдали кому-то власть; об их «власти», гордости и притеснениях нет никакого рассказа, они просто «сели» и начали «пировать и охотиться», да «воевать» с кочевниками. Переженились, народили детей и стали «Русью» — русскими, хлебосолами и православными, без памяти своего языка, родины, без памяти своих обычаяев и законов. Нужно читать у Огюстена Тьери «Историю завоевания Англии норманнами», чтобы видеть, какой это был ужас, какая кровь и особенно какое ужасное *вековое угнетение*, наведшее черты искаженности на всю последующую английскую историю. Ничего подобного — у нас!..

Если мы перекинемся от тех давних времен, в *подробном образе* нам не известных, к векам XVIII и XIX-му, когда опять началось живое общение русских с «мужским» западным начальством, — то опять увидим повторение этой же истории. Как будто снаружи и сначала — «подчинение русских», но затем сейчас же происходит более *внутреннее овладевание* этими самыми подчинителями, всасывание их, засасывание их. «Женственное качество» — налицо: уступчивость, мягкость. Но оно оказывается как *сила*, обладание, овладение. Увы, не муж «обладает женой»; это только кажется так. На самом деле жена «обладает мужем», даже до поглощения. И не властью, не прямо, а вот этим таинственным «безволием», которое чарует «волящего» и грубого и покоряет его себе, как нежность и миловидность. Что будет «мило» мне, — то, поверьте, станет и «законом» мне. Вот на что не обратили внимания Бисмарк и Вильгельм. Даже Бисмарк заметил и запомнил «милого мужичка», утешавшего

его своим «ничего», когда тот заблудился в снежных дебрях на охоте; а у мужичка едва ли сохранилась большая память о немецком барине, кроме того, что он его тогда «вызволил», — и «слава Богу», — за что получил, верно, «пятишницу» на чай. «Бисмарковского периода» в жизни мужика не было, но в необычайную сложность биографии Бисмарка все-таки вплелся русский взгляд, русский прием сказать «ничего!» в отчаянном положении. Не железный ли человек был Миних? А какое он принес «свое влияние» на Русь? Был суровый, даже до жестокости, командир; ругали, проклинали, но не больше. Однако уже его сын писал по-русски «Добавления к запискам господина Манштейна», — писал как русский патриот, как русский служилый человек, как добный работник на необозримой русской ниве. И теперь есть русские дворяне «Минихи», совершенно то же, как «Ивановы».

* * *

Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям... Именно, вот как невеста и жена — мужу... Но чем эта «отдача» беззаветнее, чище, бескорыстнее, даже до «убийства себя», тем таинственным образом она сильнее действует на того, кому была «отдача». И в супружестве не ветреная жена владеет мужем, но самая покорная, безропотная, отдающаяся «всё»... За «верную жену» муж сам обратно «умрет», — это уж закон великолюбия и мужества. Тут происходит буквально святое *взаимокормление*; и вот его-то силу не учли историки, считающие, что процесс истории есть соперничество сил и интересов, соперничество властей, — и только. Оглядываясь назад, укажем: да отдавали ли мы какому-нибудь русскому мыслителю, — ну, Новикову, ну, Радищеву, Чаадаеву, Герцену, — столько сил и энтузиазма, столько чтения и бессонных ночей, сколько их отдали мы Боклю и Спенсеру?!. А Ницше последних лет? Его «Заратустру» цитировали как любимые стихотворения, как заветную, гонящую сон сказку; и Пушкин совершенно никогда не знал такой поры увлечения им, как была пора «Ницше» в его золотые дни. То же было за немного времени перед тем с Шопенгаузером. Факт этот до такой степени всеобщ и постоянен, что даже нельзя представить себе «образ русского общества», каким он был бы под воздействием «русского же увлечения». Если бы Русь зачиталась вдруг Пушкиным, стала его цитировать на перекрестках улиц, в каждом номере газет, во всяком журнале... — нельзя представить и вообще

разить!! «Русские бы стали на себя не похожи»: до такой степени увлекаться чем-нибудь непременно из Европы есть единственно «похожее на себя» у русских, у России... Женщина, вечно ищащая «жениха, главу и мужа»...

Сейчас совершенно еще не видно, что из этого выйдет; об этом пока тоскуют одни славянофилы,— «почти не русские». Но неизбежно что-то огромное должно выйти отсюда. Я думаю, отсюда-то именно и вытечет, через век, через $\frac{1}{2}$ века, огромное «нашептывающее» влияние русских на европейскую культуру в ее целом. Под воздействием этой непрерывной и страшной любви к себе, полной такого самозабвения, такого пламени, уже скучающая «мещанскою скую» Европа не может не податься куда-то в сторону от своего эгоизма и сухости, своей деловитости и практицизма. Тут предсказывать невозможно: можно только указать на «Минихов», на Даля, на Востокова, Гров, на еврея — собирателя русских народных песен Шейна, и добавить, что «русских католиков», как Волконские, как Мартынов и Гагарин, было меньше численно, а главное — они все были *меньшего значения*... Главное, тут что выходит: что русские, так страстно отдаваясь чужому, сохраняют в самой «отдаче» свое «женственное я»: непременно требуют в том, чему отдаются,— кротости, любви, простоты, ясности; безусловно ничему «грубому», как *таковому*, русские никогда не поклонились, не «отдались», — ни Волконские, ни Гагарин, ни Мартынов. Напротив, когда европейцы «отдаются русскому», то отдаются самой сердцевине их, вот этому «нежному женственному началу», т. е. отрекаются от самой сущности европейского начала, вот этого начала гордыни, захвата, господства. Эту разницу очень нужно иметь в виду: русские в «отдаче» сохраняют свою душу, усваивая лишь тело, формы другого... В католичестве они не «поднимают меч»; олютеранившись, не прибавляют еще сухости и суровости к протестантизму. Наоборот, везде вносят нежность, мягкость. Западные же увлекаются именно «женственностью» в нас... Ее ищут у Тургенева, у Толстого... Таким образом, мы увлекаемся у них «своим», не найдя в «грустной действительности на родине» соответственного идеалу своей души (всегда мягкому, всегда нежному); у них же «увлечение русским» всегда есть перемена «внутреннего идеала»... Есть «обрусовшие французы», отнюдь не потому, чтобы они у нас нашли почву для любви к «la gloire»...* Но «офиранцузившиеся русские» никогда не говорили себе: «С но-

* Слава (франц.).

вым Наполеоном я или потомки мои дойдем до края света». Никогда! Нет такой мечты!!

Русские принимают тело, но духа не принимают. Чужие, соединяясь с нами, принимают именно дух. Хотя на словах мы и увлекаемся будто бы «идейным миром» Европы... Это только так кажется. Укажите «объевропеившегося русского», который объевропеился бы с пылом к « власти », «захвату », «грабежу », к «grafen» и «haben» как « грабить » и «хапать »; чтобы мы немечились или французились по мотивам к движению, завоеванию, созиданию.

Мы надевали европейский сапог с мыслью, что он еще меньше будет жать ногу, чем « домашняя туфля ». Но европейцы, когда снимали свой сапог, именно знали, что надевают « русскую туфлю », которая вообще нигде не жмет, но зато и не есть, в сущности, обувь. Они — отрекались; мы — « паче себя утверждали ». Вера Фигнер перешла в социализм, когда увидела в Казани оскорбленным администрацией своего любимого учителя (см. ее « Воспоминания о Лесгафте »). Вот русский мотив. Но я не знал немца, который, принимая православие, думал бы: « Теперь у меня пойдут лучше занятия философию », или « станет устойчивее фабрика », или « я что-нибудь сочиню даже выше Фауста ». Мотивы немецкие исчезли; но у русских русский мотив (жалость, сострадание) усилился (т. е. когда они переходят в европейство).

Печорин, странный идеалист 40-х годов, перешел в католичество. Что же, он стал « строить козни » лютеранам? А он поступил в иезуитский орден. Нет, он сделался « братом милосердия » в одном из ирландских госпиталей. « Русский мотив » усилился.

Весь русский социализм, в идеальной и чистой своей основе, основе первоначальной,— женственен; и есть только расширение « русской жалости », « сострадания к несчастным, бедным, неимущим », к « немощным победить зло жизни ». (Смотри разительные « Записки » Дебагория Мокриевича.) Но все это — мотивы еще Ульяны Осоргиной, о которой читал Ключевский в своей лекции « Добрые люди древней Руси ». Смотри также женские типы Тургенева (« собирала больных кошечек, больных птичек » Елена), или у Толстого, в « Воскресении », типы « политических », идущих в Сибирь: « дайте, я понесу вашего больного ребенка; вы сами устали ». А социализм — европейская и притом очень жесткая, денежная и расчетливая идея (марксизм).

И в « дарвинизме » русских втайне увлекло больше всего то,

что он «сшиб гордость у человека», заставив его «происходить» вместе с животными и от них. «Русское смиление» — и только. Везде русский в «западничестве» сохраняет свою душу; точнее, русский вырывается из «русских обстоятельств», все еще для него грубых и жестоких (хотя они несравненно «женственнее» западных), — и ищет в неясном или неведомом Западе, в гипотетическом Западе, условий или возможностей для такого высокого диапазона русских чувств, какому в отечестве грозит «кутузка».

* * *

Западным людям русская литература открыла эру нового нравственного миропорядка. Замечательно, что русские никогда не увлекались нравственными характерами западных литератур, если это не были характеры «дополнительные для русской души»... Например, Корделия увлекательна, но она есть олицетворение жалости к отцу. Герои Диккенса увлекательны, но это все есть «бедные люди» Достоевского и даже скромный герой гоголевской «Шинели». Нужно заметить, что Диккенс «пел» и любил не типичные английские идеалы, не людей «бифштекса» и гигантской работы. Сам Диккенс был изменник родины и «почти русский писатель» (см. Ульяну Осоргину в *древней Руси*). Оттого его на Руси и любили. Но «королей» и «министров» из Расина, Корнеля, из Виктора Гюго, из Дюма — никогда не любили, предпочитая им «вoriшек» из Эжена Сю. Заметив это, обратимся к Западу. Он преклонился вовсе не перед *художеством* русских писателей, довольно неуловимым в переводе, но перед новым нравственным миропорядком, какой открывался просто картинами русской жизни и характерами русских людей. Минувший год в Наугейме мне пришлось не самому слышать, но через третье лицо услышать рассказ о том необыкновенном и исцеляющем действии, какое русская литература производит на иностранцев, на американцев, немцев, англичан «в несчастии», в «ломке жизни», в «крушившейся судьбе».

— Я не знаю, что у нее... Она постоянно печальна. Подолгу и часто она говорит со мной о русской литературе, больше всего о Тургеневе. Она знает мельчайшие его вещи, знает незаметные его афоризмы. И вот, как Тургенев смотрит на жизнь и на человека — это неизъяснимо ее волнует, привлекает и, видимо, утешает, успокаивает. Она приводила мне места из его «Фауста» и из «Романа в девяти письмах», каких я и сама не заметила. А я знаю Тургенева и люблю его.

В Мюнхене, позднее, мне приводилось слышать от швейцарцев:

— Мы же знаем русскую жизнь, потому что мы читали Толстого. И ваши деревни, и ваши мужики, и ваша религия — не чужие нам.

В самом деле, «литература — жизнь». Особенно у нас, особенно в «натуральной школе» нашей... Знают литературу, — и им открылась вся громада нашей жизни... ленивой, тихой, незаметной, глубокомысленной.

«В самом деле, русская туфля не жмет».

Есть ли во всей русской литературе хоть одна страница, где была бы сказана насмешка над «оставленной девушкой»? над ребенком? матерью? над бедностью? «Вор», — и тот в «честных» («Честный вор» у Достоевского). Русская литература есть сплошной гимн униженному и оскорбленному. И так как таковых множество всегда, везде, множество в гордой и гигантски работающей Европе, то можно представить взрыв восторга, когда всем им показана страна, показан целый народ, где никогда никто не смеет обидеть «сиротку» не в имущественном, а вот в нравственном смысле, — обидеть «убогого» по положению, по судьбе, по «ломке жизни». Таких слишком много. Что им скажут «короли» Гюго, да и вообще слишком явно «выдуманные сюжеты» западной обычной беллетристики. Но русские рассказы, — тоже «обычно» из настоящей жизни, с несомненными чертами в себе «подлинной верности с действительностью», — могут дать утешение: «Есть страна, целый огромный народ, неизмеримого протяжения, где я не была бы презираема», «не была бы так грубо оскорблена», где всякий «заступился бы за меня», где «взяли бы меня за руку и поставили на ноги». — «Я — окаянная, но — в нашей стране, а не на всей планете».

Вот действие русской литературы: оно многозначительно не по отзывам западной критики, не по шумной ее славе, не по осязательным триумфам, а по неосознательному, по не учитывающему нигде и никем сродству с душой простого читателя, повсеместного читателя, в известном строе этой души, в известном ее положении... «Кому-то русская песня всегда нравится»... Нет, — больше, лучше: «Есть души, которым русская песня одна нужна на свете, милее всего на свете, как ушибленному — его мать, как больному ребенку — опять же мать его, может быть некрасивая женщина и даже не добродетельная женщина». «Добротели» с русских, конечно, странно спрашивать... «Тройка»... Но вот что есть всегда на Руси: отзывчивость. Она может быть даже оттого и создалась на Руси или преувеличилась на Руси, что слишком уж многих и повсеместно давят

разные «тройки». Как бы то ни было, но «убаюкаться на Руси» многим хочется... Ну, и надеть наши «туфли»...

* * *

«Женственное» — облегает собою мужское, всасывает его. «Женственное» и «мужское» — как «вода» и «земля» или как «вода» и «камень». Сказано — «вода точит камень», но не сказано — «камень точит воду». Он ей только «мешает» бежать, куда нужно, «задерживает», «останавливает». «Мужское» во всяком случае — сила; и она слабее ласки. Ласка всегда переборет силу. «Тевтонское нашествие» упало бы в «Русь», как глыба земли в воду. Замутило бы ее, расплескало бы ее, но, в конце концов, растворилось бы в ней. «Русская стихия» осталась бы последнею и поверх всего. Вильгельм и Бисмарк естественно имели точку зрения «военачальническую» и вообще «начальническую»; но есть еще точка зрения «подданническая». Вот она-то и важна. Она была совсем не видна ни Бисмарку, ни Вильгельму. Заприметь они ее, они бы поняли, до какой степени «сон Вильгельма» несбыточен, невозможен и даже смешон. На Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер; к сожалению, не умею назвать немецкую фамилию Востокова. И поразительно, что они все не только потеряли «свое немецкое», прияя на Русь, с каковою потерю, естественно, потуспниели бы. Этого не случилось, а случилось другое: — они *расцвели*, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое «тело»), но пропитав все это «женственною душою» Востока... В конце концов оставили и свою религию, приняв нашу восточную, — без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами. Решительно невозможно себе представить, чтобы русский, прияя в Германию, стал «ух какой вахмистр!». Т. е. немецкую душу совсем не принимают русские, а только — формы. Таким образом, на слова Франца-Иосифа, что он «предпочел бы стоять часовым у немецкой палатки, чем сделаться славянским королем», можно ответить: «ну, ваше величество, сколько мы знаем случаев, что немцы предпочитают служить коллежскими секретарями у нас, чем у вас в полковниках». Как все это сделалось? Как случилось? Почему Саблер сделался энтузиастом консисторского делопроизводства? Почему Даль, чиновник в петербургском департаменте и лютеранин, стал собирать пословицы, поговорки и, наконец, весь «живой говор» Руси? Почему Шейн всю жизнь пробродил по селам и деревням, собирая самые *напевы*, самые *мотивы* бытовых, свадебных, похоронных песен? Он, талмудист-еврей?! Отчего

Гершензон в Москве с такой любовью реставрирует всю старую литературную Русь? «Женственная душа» и немножко «туфля» (должно быть, тоже не мужского покроя) везде прососались, отнюдь не разрушая мужских ихних «форм», мужского «тела», но паче его укрепляя и расцвечивая. Решительно,— они работают по формам, по приемам лучше русских. Оттого Саблер и дошел до обер-прокурора: дело не малое. Но работают в русском духе, для русских целей. Работают в точности и полно *русскую работу*. Вот ряд маленьких *mīracula ethinica**, приняв которые во внимание, можно ответить и Бисмарку, и Вильгельму, и Францу-Иосифу, как тот мужичок в лесу:

— Ничего, барин... Вызволимся как-нибудь.

1911 г.

* Чудеса этики (*лат.*).